

21/11/1910

## ПЕТЕРБУРГСКІЯ ПИСЬМА.

VIII.

Безвременная кончина В. О. Комиссаржевской, которую любили у насъ въ Петербургѣ нѣжно-восторженнойю, по истинѣ трогательною любовью, поразила всѣхъ, кто любит искусство, кому дорогъ всякій истинный талантъ, кто искренно любит театр. И смерть ея—болѣе всего горе именно Петербурга, именно нашего петербургскаго общества. Въ теченіе послѣдней недѣли всѣ обыкновенныя злобы дня, всѣ событія, происшествія, интересы,—все отошло на задній планъ. То была недѣля воспоминаній Комиссаржевской, скорби по Комиссаржевской.

Утромъ 30 января петербуржцы, пробѣгая телеграммы, привычнымъ взглядомъ скользнули по тремъ краткимъ строчкамъ изъ Ташкента, извѣщавшимъ о томъ, что В. О. Комиссаржевская и пять артистовъ ея труппы заболѣли оспой, и что спектакли прерваны. Прочитавъ съ разбѣга эти строчки, петербуржцы ахнули, остолбенѣли и прочли ихъ вторично, уже медленнѣе. Что за кошмаръ! У всѣхъ, кто зналъ хоть немного, какое слабое здоровье было у артистки, какою повышенною, вѣчно трудовою, безпокойною и нервной жизнью она жила, тревожно ёкнуло сердце... „Не быть добру“, подумали многіе изъ насъ, но боялись высказывать свои опасенія вслухъ, тревожить другихъ. Грозная вѣсть быстро облетѣла городъ, взволновавъ, встревоживъ и ошеломивъ многихъ, и многихъ, но затѣмъ наступило затишье, толковъ о болѣзни артистки было, сравнительно, немного. Теперь, когда самыя мрачныя предчувствія уже оправдались, газеты съ изумленіемъ отмѣчаютъ, что „умирала Комиссаржевская какъ-то странно, о болѣзни ея мало знали и говорили“, и чуть ли не упрекаютъ публику въ равно-

душій. Нѣтъ, то было не равнодушіе, а какая-то притаенность, боязливое, жуткое ожиданіе дальнѣйшихъ вѣстей.

Ташкентъ! Это, вѣдь, такъ страшно далеко, невѣдомо и недостижимо. Это не какіе-нибудь Павловскъ или Царское Село, или даже Гатчина, куда можно съѣздить и вернуться въ одинъ и тотъ же день, и даже, если хотите, не одинъ разъ. Значитъ, лично никто не могъ тамъ побывать и привезти свѣжія вѣсти; даже для обмена телеграммами потребовалось бы немало времени. Къ тому же ничѣмъ и никто не могъ помочь большій... Оставалось одно—ждать. Публика и ждала, къ тому же невольно и естественно отдаваясь шумнымъ впечатлѣніямъ „французской недѣли“, о которой неустанно трещали всѣ столычные органы печати, да продолжали трещать и потомъ, когда наши недавніе гости стали уже гостями москвичей. И вотъ, только что получились изъ Москвы первыя извѣстія о прибытіи туда и приемѣ французъ, какъ петербуржцы были потрясены роковою вѣстью о кончинѣ Комиссаржевской. Именно,—потрясены, это слово передаетъ вѣрно впечатлѣніе, произведенное извѣстіемъ изъ Ташкента, и съ этой минуты извѣстіе это стало самымъ жгучимъ, самымъ большимъ интересомъ петербургской жизни.

Въ четвергъ 11 февраля газеты оповѣстили о цѣломъ рядѣ панихидъ по покойной, и на первой же такой панихидѣ, въ этотъ же самый день, назначенной въ 3 часа въ Казанскомъ соборѣ, набралась такая толпа народа, что въ тѣснотѣ и полумракѣ огромнаго собора было почти невозможно различить отдѣльныя лица и назвать того или другого, какъ это обыкновенно дѣлается досужими репортерами. Это была, дѣйствительно, толпа, та разнородная, разношерстная публика, что наполняла долгіе годы тѣ театральныя залы, гдѣ играла Комиссаржевская. Сошлись въ соборъ самыя разнообразныя люди и всѣ между собою перемѣшались, искренно подавленные глубокой печалью. Только тѣ, кто пришли совѣмъ рано, задолго до начала панихиды, могли пробраться впередъ; большинству же не было даже видно служившаго священника, и только молитвенные возгласы, да голоса пѣвчихъ доносились до всѣхъ явственно среди царившей тишины. На улицѣ стояла та невозможная от-

вратительная погода, что замѣняетъ намъ нынче зиму: было сыро, мелкій-мелкій дождь сѣялъ словно изъ сита и было до того темно, что при дѣлѣ собора, гдѣ совершалась панихида, былъ совѣмъ слабо освѣщенъ, а тускло мерцавшія восковыя свѣчи, съ ихъ колеблющимися красноватыми огоньками, не въ силахъ были дать настоящій свѣтъ. Многіе въ толпѣ плакали, другіе порой тихонько шептались, стараясь пополнить свои скудныя пока свѣдѣнія.

Всѣ послѣдующія панихиды по Комиссаржевской, а ихъ было много и предстоитъ въ будущемъ еще немало, гдѣ бы онѣ ни служились, привлекали неизмѣнно массу молящихся, и со всѣхъ сторонъ только и слышишь о различныхъ предложеніяхъ способовъ почтить ея память. Образовался даже съ этой цѣлью особый комитетъ, который станетъ распоряжаться ея похоронами, и уже заранѣе чувствуется, что похороны эти будутъ грандіозны, и что Петербургъ сумѣетъ почтить память своей любимицы.

А пока что, въ воспоминаніяхъ о ней, не обогатившихся доселѣ ни одной вполне художественной, глубоко-интересной и достойной ея памяти статьёй, преобладаютъ двѣ неприятныя нотки,—одна несправедливая, и другая—глубоко антипатичная. Покончимъ сначала съ этой второй ноткой, уже слегка отмѣченной *Новымъ Временемъ*, а именно антипатичнымъ стремленіемъ лѣвой печати присвоить всецѣло Комиссаржевскую себѣ. Опираясь на то, что въ своемъ первомъ театрѣ, въ Пассажѣ, Комиссаржевская ставила пьесы молодыхъ, считавшихся передовыми писателей, впоследствии благополучно перебравшихся на Императорскую сцену: на то, что потомъ, въ ея Новомъ Драматическомъ театрѣ, находящемся нынѣ въ рукахъ самаго „блистательнаго Леонида“ (Андреева), наша обаятельная любимица подпала подъ вліяніе самозваннаго манака изъ избраннаго племени, г. Мейерхольда, и завела у себя *стилизацию и статуарность*; на то, что ее, дѣйствительно, обожала молодежь, которой она широко открывала доступъ въ свой театръ по крайне удешевленнымъ цѣнамъ; наконецъ, на то, что въ ея театрѣ задумали ставить *Саломею* Оскара Уайльда и что запрещеніе этой пьесы связано было съ именемъ такого ненавистнаго черносотенца, какъ г. Пуришке-

вичъ,—Комиссаржевскую упорно пытались „аннексировать“ къ лѣвому лагерю. Эти потуги весьма противны. Комиссаржевская была природною артисткой, пылавшею искрой священной огни, и это превыше всего,—ибо всякій, слушая ея глубокой, музыкально-чарующій голосъ, хватавшей за душу, слѣдя за тончайшими нюансами ея удивительной мимики, чувствовалъ, что она что-то задѣваетъ глубокое въ его душѣ, и что струны его души отвѣтно трепещутъ въ унисонъ артисткѣ. Всѣ мы, любящіе театръ и искусство, не разъ видѣли Комиссаржевскую, переживали, благодаря ей, глубокаго волненія, и благодарно любили ее... любили ее и лѣвые, и правые, и просто никакіе, въ политическомъ смыслѣ, люди, ибо всякій талантъ общечеловѣченъ.

Другая нотка несправедливая,—это упрекъ публикѣ за ея, будто-бы, равнодушіе къ артисткѣ, за то, что ее недостаточно, будто-бы, цѣнили, не сумѣли поддержать и преступно допустили уѣхать далеко, въ глушь, въ погонѣ за деньгами... Не нашлось, видите ли, меценатовъ, готовыхъ поддержать ея предпріятіе, способныхъ рискнуть презрительнымъ металломъ, чтобы дать артисткѣ возможность продолжать служить искусству и т. д. Артистка, видите ли, до того разочаровалась въ театрѣ, что рѣшилась покинуть сцену... для чего же, однако? Да для того, чтобы основать свою театральную школу, т. е., чтобы преподавать опять-таки *сценическое искусство*, подготавливать новыхъ дѣятелей для сцены же. Спрашивается, гдѣ же это „разочарованіе въ театрѣ“? Очевидно, разумѣется, что почему-то артистка устала играть сама, быть-можетъ непомѣрно утомленная, надломленная переходомъ отъ прежней, тонко-кружевной, духовной, волнующей игры къ *Мейерхольдовщинѣ*, къ нелѣпой неподвижности и одноности *стилизации и статуарности*. Вѣдь, право, было какъ-то жутко сразу увидѣть, вмѣсто такъ недавно горѣвшей, трепетавшей, волновавшей насъ всѣхъ своими сценическими переживаниями, страданіями и радостями Комиссаржевской, чудесные, лучистые глаза которой неотразимо чаровали насъ,—неподвижную, застывшую женскую фигуру, съ рѣдкими, отрывистыми, какъ бы произвольными, машинальными жестами, съ уставленными въ одну точку

глазами, съ однообразными звуками приглушеннаго, по природѣ богатаго, голоса. Большинство пришло въ ужасъ, и многіе съ горестью перестали ходить въ театръ Комиссаржевской, именовавшейся панегиристами его „театромъ исканій“, другіе злорадно смѣялись, третьи, скрѣпя сердце, выносили *причуду* своего кумира, и только къ-то взвнечное, фанатическое меньшинство, продолжало неистовствовать по прежнему, восторженно вызывая артистку. Въ ея второмъ театрѣ создавалась неприятная, нелѣпо-странная атмосфера, гдѣ суетились многочисленные представители избраннаго племени, невѣроятно растрепанные студенты, типичные „товарищи“, а порой и такіе форменные хулиганы, что случайная публика боязливо шарахалась въ сторону, и дѣвицы такого невиданнаго доселѣ доморощенно-декадентскаго образца, что обыкновенные смертные замирали отъ изумленія при ихъ видѣ, цѣпенѣли или поспѣшно сторонились. И вся эта орава бѣшено носилась по театру, галдѣла, перебивалась, толкала всѣхъ, попадавшихъ на пути, бросалась къ самой рампѣ,—словомъ, устраивала подлинный бедламъ. Все это благополучно унаслѣдовалъ нынче „блистательный Леонидъ“. Но все это не создавало настоящаго успѣха и не давало крупныхъ сборовъ,—несравненная артистка частенько играла при полу-пустой залѣ, а контрамарки раздавались съ великою щедростью. Наконецъ, артистка спохватилась, пропониала г. Мейерхольду отставку, (отчего, конечно, завопила лѣвая пресса), и стала пытаться создать себѣ новый репертуаръ. Это оказалось не легко: прежній, бытовой, репертуаръ, былъ разстроены, всѣ крупные артисты, постепенно спугнутые статуарностью, ушли, и все прихотилось заново налаживать. Въ результатѣ, получился архи-пестрый репертуаръ, изъ кое-какихъ прежнихъ пьесъ, изъ нѣкоторыхъ пьесъ, оставшихся, по той или другой причинѣ, отъ эпохи *стилизации*, какъ, напримѣръ, нелѣпо-карикатурная *Жизнь человека*, и изъ пьесъ новой постановки, подъ руководствомъ брата директрисы, г. Комиссаржевскаго, продолжавшаго *театръ исканій*. Онъ ударился въ реставрацію театра примитивнаго, лубочнаго, и пошли другія крайности, въ области условностей зачаточныхъ періодовъ *комедійнаго дѣйства*. Это публики не привлекло,

и послѣ неудачно-пестраго сезона Комиссаржевская уѣхала въ турнэ, потому что были нужны деньги. Да, не нашлось тутъ меценатовъ, но какъ-то не хочется брать на душу упреки какимъ-то невѣдомымъ людямъ лишь за то, что они не пожелали вложить своихъ капиталовъ въ театральное предпріятіе. Всякій, вѣдь, хозяинъ своему имуществу.

А масса публики тутъ не при чемъ; она любила, баловала артистку, и глубоко огорчилась ея отъѣздомъ. Конечно, у Комиссаржевской была сложная, мятежная душа, и ясно что она была своею дѣятельностью неудовлетворена. Но... чужая душа потемки, и надо думать, что только самые интимные друзья знаютъ, чего именно ей хотѣлось, отъ чего именно она страдала, если только она сама, какъ существо, одаренное свыше, какъ существо вѣчно горѣвшее,—потому что въ глубинѣ его пылало священное пламя стихійнаго таланта,—опредѣленно сознавала, чего ей недостаетъ... Страшно судить о такихъ вещахъ передъ даже еще не закрывшейся могилой, передъ этимъ измученнымъ прахомъ, вѣдущимъ къ намъ гдѣ-то далеко въ траурномъ вагонѣ. Но публика не виновата передъ чудесной, единственной артисткой: публика окружала ее поклоненіемъ самымъ трогательнымъ, упрекать въ чемъ бы то ни было петербургскую публику—грѣшно. Ничему *публика* помѣшать не могла... Если искать исходную точку всей бѣды, такъ иридеши къ давно известной истинѣ: неумѣнью, чтобы не сказать нежеланію, заправить нашихъ казенныхъ театровъ удерживать и сохранять истинно талантливыхъ артистовъ. Комиссаржевская была нѣсколько лѣтъ кумиромъ публики Александринскаго театра, Комиссаржевская въ цѣломъ рядѣ ролей дѣлала полные сборы въ переводныхъ пьесахъ въ залѣ Михайловскаго театра, гдѣ почему-то, за исключеніемъ спектаклей по удешевленнымъ цѣнамъ, устроеннымъ нынѣ для школьной молодежи, русская труппа сборовъ не дѣлаетъ. Комиссаржевская была украшеніемъ нашей „образцовой“ сцены, сіяла на ней яркою, милою звѣздой. Ее слѣдовало удерживать на этой сценѣ. Но этого не сдѣлали. Петербуржцы это сознаютъ, и это сознаніе прибавляетъ еще болѣе горечи къ ихъ горькой скорби.

ЮЛІА ЗАГУЛЯЕВА.